

Петр Боборыкин

# Тургенев дома и за границей



Петр Дмитриевич Боборыкин

# Тургенев дома и за границей

«В Тургеневе прежде всего хотелось схватить своеобразные черты писательской души. Он был едва ли не единственным русским человеком, в котором вы (особенно если вы сами писатель) видели всегда художника-европейца, живущего известными идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе, или занятого делами, или же занятого теми или иными сословными, хозяйственными и светскими интересами. Сколько есть писателей с дарованием, которых много образованных людей в обществе знавали вовсе не как романистов, драматургов, поэтов, а совсем в других качествах...»

# Содержание

Петр Дмитриевич Боборыкин Тургенев дома и за границей . . . . .	0004
I . . . . .	.0005
II . . . . .	.0015
III . . . . .	.0022
#5 . . . . .	.0031

**Петр Дмитриевич Боборыкин  
Тургенев дома и за границей**

В Тургеневе прежде всего хотелось схватить своеобразные черты писательской души. Он был едва ли не единственным русским человеком, в котором вы (особенно если вы сами писатель) видели всегда художника-европейца, живущего известными идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе, или занятого делами, или же занятого теми или иными сословными, хозяйственными и светскими интересами. Сколько есть писателей с дарованием, которых много образованных людей в обществе знавали вовсе не как романистов, драматургов, поэтов, а совсем в других качествах. Про Тургенева же сказать это совершенно невозможно, по крайней мере для всех, кто что-нибудь читал на своем веку. Просто человеком, русским барином, помещиком, охотником он бывал для простых людей: крестьян, местных обывателей на своей родине или же в случайных столкновениях в дороге, дома и за границей.

Такое отношение к нему маскировало и в

глазах людей чутких много характерных свойств, принадлежащих ему, как типу, созданному и русской и международной жизнью. У нас до сих пор мало разбирали людей, достигших известности в сфере литературы, науки и искусств, с бытовой точки зрения. Первую попытку этого сделал когда-то в своих критических статьях покойный Аполлон Григорьев. Его интересовала родина различных писателей и поэтов; он находил у земляков многие родственные черты творчества, склада ума. Это родство заключается, конечно, и в них самих: в их характере, манере, внешнем типе. И в Тургеневе сказывался барин из центральной великорусской местности, поужнее от Москвы. Кто знавал его и вместе с тем знаком был с графом Л. Н. Толстым, тот, конечно, согласится, что они оба очень похожи по типу, а по тону и складу речи их положительно можно было принять за родных братьев, хотя голос у них и не совсем был похож. Толстой также, если не родился, то обжился в местности из того же района. Тула и Орел по бытовой жизни близки между собою...

Я употребил слово *барин*. Знаю, что оно сделалось почти бранной кличкой. Но всякую тенденциозность мы оставим; она должна уступить место правде, определению характерных особенностей; с чем бы они ни были связаны в глазах иного читателя, известное сословие жило несколько столетий не одними только грубыми хищническими интересами и побуждениями. Оно было и главным носителем образованности вплоть до половины нашего столетия.

Каждому думавшему о законах психологической жизни известно, какую роль играют преемственность и наследственность. Вот эту-то наследственность барского склада и можно было изучать в Тургеневе. Совершенно справедливо, что две трети жизни, проведенные за границей, совсем не обесцветили его в этом отношении. В целой тысяче иностранцев он всегда выделялся не одной только своей огромной фигурой и живописной головой, а манерой держать себя, особенным выражением лица, интонациями голоса. Такому голосу при подобной фигуре у иностранцев трудно сложиться; он был бы непременно

сильнее, гуще или жестче, вообще гораздо эффективнее. Звук остался чисто русский: слабый, более высокий, чем можно было ожидать от такого тела, и опять-таки барский, а не чиновничий, не профессорский, даже не литературский, если взять среднюю манеру говорить петербургского журналиста за последние тридцать лет. Тургенев немного шепелявил, не так резко, как, например, покойный актер Шуйский или Павел Васильев, но с прибавкою чуть заметного звука с. Это недостаток тоже дворянский, а не чиновничий и не купеческий. Но слабый голос и такая особенность произношения делали разговор Тургенева проще и привлекательнее. Иначе блеск его ума, художественная объективность и меткость определений выходили бы слишком красивы, стесняли бы собеседника своей старательной, мастерской отделкой. Очертание головы в последние двадцать лет оставалось то же; волосы и бороду Тургенев носил без перемены прически. Манера держать ее была также барская; но вся голова, особенно в последние годы, напоминала русские деревенские типы: благочинных, бурмистров, ста-

риков пчелинцев. И между родовитыми купцами попадаются такие лица. Народность в тесном смысле, то есть связь с крестьянским людом, сказывалась всего больше в некоторых особенностях лица, в складках лба, в бровях, в выражении и посадке глаз, в носе, уже совершенно не имевшем ничего западноевропейского. И несмотря на то, что руки и ноги у Тургенева были большие, походка замедленная и тяжеловатая, в нем жил настоящий барин, все приемы которого дышали тем, что французы называют *distinction* [1] с примесью некоторой робости., Вот эта душевная черта тоже чисто русская, я бы сказал даже – дворянски русская. Француз-писатель, да и всякий иностранец, если б он наполовину столько жил на миру, как Тургенев, и достиг одной трети его репутации, давно бы утратил всякую робость. Ею надо было объяснять и ту сдержанность, кажущуюся суховатость тона, манеру говорить и руководить беседой, которые в Тургеневе многих приводили в недоумение. Но он очень легко сокращался, запирали для случайных собеседников ларчик, где у него лежало столько хороших, интимных

вещей. От чувства неловкости, навеваемого людьми или известным положением, местом, необходимостью играть роль знаменитого писателя, являлся и другой совсем тон, тот тон, который вредил Тургеневу в глазах радикальной молодежи. Но рядом с этим жило в нем всегда одно, тоже настоящее барское свойство. Это – способность сразу человеку малознакомому говорить о таких обстоятельствах своей жизни, которые обыкновенно усиленно припрятываются.

Меня черта эта поразила как раз в первый же разговор, который я имел с Тургеневым в 1864 году. Перед тем я к нему обращался письменно как редактор «Библиотеки для чтения». Приехал он в Петербург, сколько я помню, осенью или зимой и остановился в Hotel de France. Повод моего визита был редакторский: просить его дать что-нибудь журналу. Мне памятливы все подробности: небольшая комната с камином, костюм его (синяя визитка по тогдашней моде), диванчик, на котором мы сидели слева от входа из темненькой передней.

– Вот, видите ли, – сказал он мне, – я ниче-

го вам не могу обещать, потому что теперь я поканчиваю свою деятельность...

Это, конечно, не могло меня не изумить. Припомню, что тогда Тургенев еще испытывал удручающее его впечатление «Отцов и детей» на молодую русскую публику. Но никакого особенного раздражения я в нем не видал; на эту тему он не сказал ни одного слова. Объяснение его было гораздо проще, и вот в нем-то и сказалось это свойство: не утаивать даже деликатных вещей из своей жизни, даже перед человеком, являющимся к нему в первый раз.

– *Сочинять*, – продолжал он, – я никогда ничего не мог. Чтобы у меня что-нибудь вышло, надо мне постоянно возиться с людьми, брать их живьем. Мне нужно не только лицо, его прошедшее, вся его обстановка, но и малейшие житейские подробности. Так я всегда писал, и все, что у меня есть порядочного, дано жизнью, а вовсе не создано мною. Настоящего воображения у меня никогда не было. И вот теперь случилось так, что я поселился за границей...

Без всякого колебания или многозначи-

тельной паузы он добавил:

– Жизнь моя сложилась так, что я не сумел свить собственного своего гнезда. Пришлось довольствоваться чужим. Я буду жить за границей почти безвыездно, – стало быть, прости всякое изучение русских людей. Вот почему я и не думаю, чтобы написалось у меня что-нибудь. Надо на этом поставить крест.

Когда я ему заметил, что невероятно такое писательское самоубийство, что наконец он сам не выдержит, заскучает по работе.

– Кое-что буду писать, – сказал он. – Вот сколько лет мечтаю о том, чтобы сделать хороший перевод «Дон-Кихота». Буду собирать свои воспоминания... Что же делать!

В другой раз, и уже незадолго до смерти, в 80-м году, он меня опять поразил своею откровенностью, хотя в то время мы уже были в отношениях довольно близкого знакомства и я из молодого человека превратился в человека зрелых лет. Это было в 1880 году помеле московских и петербургских оваций, о которых я поговорю ниже. Увидался я с ним проездом за границу: Мы его поджидали в Москве в конце апреля или в начале мая, но он вы-

ехал из Парижа гораздо позднее, а в Петербурге был задержан сильнейшими припадками подагры. Останавливался он, как известно, в последнее время в меблированных комнатах на углу Невского и Малой Морской. Я вошел на крыльцо, а Тургенев спускался с трудом, даже, сколько я помню, на одном костыле, от себя. У подъезда стояла карета. Он мне рассказал, что это его первый выезд после двухнедельного сиденья в комнате.

– Надо сделать несколько визитов. Совесть, ни у кого не мог еще быть.

И тут, на мой вопрос: «Что его задержало?» – он ответил мне такой подробностью, которую я не имею права передать здесь, но еще более показавшей мне, что в нем в известные минуты сидела настоящая барская откровенность – иначе назвать не могу, – которой вы не найдете у людей другого типа, как бы они ни были просты, искренни и смелы: известных вещей они не скажут от той щекотливости, которой в Тургеневе не было относительно себя.

Прибавлю маленькую подробность, не относящуюся прямо к этой характеристике: сой-

дя с лестницы, он попросил зайти вместе с ним в магазин известного токаря Александра, помещающийся в том же доме, чтобы выбрать себе табакерку.

– Стал нюхать, – говорил он мне с улыбкой, – как старухи у нас толкуют: для глаз хорошо.

Вообще, несмотря на подагру, он был в очень милом настроении и передавал мне, как, сидя дома, пристрастился к картам, собирал у себя двух-трех приятелей, из которых, один оказался неудобным по своей горячности и манере ругать партнеров.

В среде иностранцев, особенно французов (я всего больше и видал его с ними), Тургенев, сохраняя свой народный барский тип в манере говорить, в тоне, превращался гораздо больше в общеевропейца, чем большинство русских. Это происходило, главным образом, оттого, что он употреблял новейший, несколько жаргонный парижский язык. У других, например, у Герцена, несмотря на его долгие скитания, самый звук, когда он говорил по-французски, был чисто московский до самой смерти. У Тургенева не только выбор, выражений, отдельные слова и словечки, но и интонации отзывались новейшим Парижем. Он слишком много жил с французскими писателями, артистами и светскими людьми, чтобы на него не отлинял их язык. И вообще, мне кажется, на грунте несомненной своеобразности как русского писателя и человека у него было в житейском обиходе множество заимствованных приемов. Не нужно забывать и того, что Тургенев предавался разным видам любительства: был охотник, шахмат-

ный игрок, знаток картин, страстный меломан, и по всем этим специальностям он имел приятелей-иностранцев. В их кружках неизбежно приобретал он известного рода пошиб речи и манер.

Немца или человека, удержавшего в себе какие-нибудь, хотя бы внешние, влияния немецкого быта, манер, тона, я в нем решительно ни в чем не замечал в течение восемнадцати лет, а между тем не дальше как несколько месяцев тому назад я, признаюсь, был не особенно приятно настроен, прочтя случайно маленькое предисловие Тургенева к митавскому изданию его переводов, где он называет Германию своим «вторым отечеством». То же он высказывал и по-русски в своих воспоминаниях, но там это как-то смягчается. И, вероятно, когда он уходил в самого себя и обзирал историю своего умственного развития, то признавал тот несомненный факт, что немцам, их университетам, их литературе, философской всесторонности, эрудиции он обязан тем, что стал настоящим европейцем по своим идеям, стремлениям и вкусам.

Но, повторяю опять, немецкий склад жизни, ума и вкусов на него резким образом не отлинял. Не было этого и тогда, когда он жил в Баден-Бадене, где мне привелось посетить его. Напротив, в баденской своей вилле Тургенев смотрел настоящим туристом, полуфранцузом, полурусским, ничего не имеющим общего с туземным населением и местностью, кроме своей страсти к охоте; а в Шварцвальде по этой части порядочное раздолье. Я позволяю себе высказать ту мысль, что у Тургенева была платоническая любовь к немецкой умственной культуре, сохранившаяся как реликвия молодости, но в плоть и кровь его она нисколько не вошла. Да и стоит только перечитать его романы, повести и рассказы, чтобы найти то здесь, то там резкое отношение к немцу, к жестоким свойствам его характера, к его смешным сторонам, наконец, к его отсталости по удобствам и вкусу, к его невозможной кухне, так едко описанной Тургеневым в «Вешних водах», за что немцы довольно долго на него дулись и до сих пор не могут ему забыть этих строк.

Случалось и мне слышать его разговоры с

немецкими писателями. Он был необыкновенно хорошо знаком со всем, что составляет духовное достояние Германии, прекрасно говорил по-немецки, и из всех мне известных русских писателей он только овладел всесторонне знакомством с немецкой образованностью. Но все это было *само по себе*; оно не накладывало печати ни на его привычки, ни на его разговор, не давало ему никаких исключительно немецких пристрастий.

Прибавлю, однако, что в Тургеневе искреннее признание всех достоинств немецкой нации делало его не только беспристрастным, но и безусловным сторонником немцев во всем, чем они выше нас. Каких-нибудь выходов в русском вкусе насчет «немчуры», вероятно, никто от него не слышал иначе, как разве в каких-нибудь шуточных, забавных рассказах.

К французам Тургенев вплоть до переселения в Париж относился, правда, немножко брезгливо; можно даже сказать, что он не любил их. Очень хорошо припоминаю свой разговор с его ближайшим приятелем по поводу переселения Тургенева с семейством Виардо

из Баден-Бадена в Париж. Переселение это было сделано из патриотизма. Виардо и его жена не хотели оставаться у «пруссачков», продали, так же как и Тургенев, свои виллы, переменили совершенно образ жизни и поселились на постоянное жительство в Париже.

– Да, бедный Иван Сергеевич, – говорил мне его приятель, – должен теперь сидеть во Франции. А ведь он до французов куда не охотник, и весь-то склад жизни в Париже ему не по душе!

Это говорилось как вещи, давным-давно известные ведем, кто близок с ним. Но патриотизм семейства Виардо, последствия франко-прусской войны, падение Второй империи и новый режим, множество живых связей с писателями и политическими людьми Франции, симпатии и вообще уважение, чуткость французов, и в особенности парижан, к таланту и ко всему, чем, по тургеневскому выражению, «красится и возвышается жизнь», сделали то, что в конце 70-х годов никто бы уже не сказал про Тургенева, что он не любит французов и живет, скрепя сердце, в Париже и Буживале.

Нельзя было этому не порадоваться! В начале франко-прусской войны Тургенев был положительно на стороне немцев, что он и выразил в нескольких корреспонденциях, напечатанных в тогдашних «Петербургских ведомостях». На французскую литературу, на роман он смотрел с ходячей в 60-х годах русско-немецкой точки зрения. Говорю это не голословно. Стоит только заглянуть в его большое предисловие, написанное в Баден-Бадене, к переводу какого-то романа его знакомого, Максима Дюкана, появившегося в издании г-жи Ахматовой. Но прошло несколько лет, и мы находим Тургенева в Париже другом реалистов, почитателем Флобера (который, заметим, был уже великим романистом с 1857 года), покровителем Золя, Нестором на их обедах и вечерах, человеком, который уже искренно ставил французскую беллетристику выше всей остальной заграничной литературы романа. Он нашел даже время и охоту, несмотря на частые припадки подагры и любовь к досугу, перевести три повести Флобера. Из молодых писателей-реалистов он чрезвычайно высоко ставил Мопассана: мне лично

несколько раз говорил о нем, как говорят только о самых крупных талантах, называя некоторые его рассказы «шедеврами». Так оно и должно было случиться, и мы все, кому дороги успехи художественного творчества, не можем этому не радоваться. Париж и Франция взяли свое и вытравили осадок русско-немецких предубеждений, какие целых двадцать – тридцать лет жили в Тургеневе. Оставался только у него его правдивый, аналитический взгляд на разные отрицательные свойства французского характера: на сухость, чувственную испорченность, тщеславие, иногда жестокость, на весь склад буржуазного житья. Но такое правдивое отношение к Франции и французам имеют очень многие друзья этой нации, даже и не так долго жившие среди французов, как Тургенев.

Этот русский тонкий европеец, несмотря на то что у него было хорошее дворянское состояние, прожил свой век больше на биваках, во временных квартирах и таких же временных собственных домах, совершенно так, как Герцен. Тот умер в меблированных комнатах, на rue de Rivoli, а в rue d'Amsterdam у него стоял собственный дом. И Тургенев умер в павильоне дачи les Frenes, который владелица объявила *своей* собственностью вплоть до последнего стула его спальни, а его назвала в своем встречном иске «жильцом», не имевшим будто бы никакой движимой собственности (?). Такое же сходство с Герценом по части собирания книг, со ставления библиотеки. Не знаю, есть ли в усадьбе Спасского-Лутвинова обширная библиотека, но в Баден-Бадене и в Париже я не помню у Тургенева книгохранилища, настолько крупного, чтобы оно занимало, например, целую залу или просторную комнату.

В обстановке Тургенева, даже в изящной баденской вилле, чувствовался холостяк. Ка-

бинет был узкий, суховато отделанный, совсем не наполненный множеством вещей, которые накопляются в комнатах семейного и домовитого человека. Хозяин только известные часы сидел у себя, а настоящим-то образом жил рядом, у своих друзей. Парижскую обстановку Тургенева я описывал, и кто поинтересуется, заглянет в очерк «У романистов», напечатанный в «Слове». Относится он к лету 1878 года, когда мы съехались на Литературный конгресс. Размеры комнат, простота отделки показывали нетребовательность в человеке богатым, барски воспитанном и в то время уже болезненным. Кто бы другой согласился, страдая подагрой, каждый день подниматься в верхний этаж и слушать с утра, часов с десяти, рулады и сольфеджии учениц г-жи Виардо, доносившиеся в спальню и кабинет его звонко и раздрающе? Москвичи в таких случаях говорят: «Точно пролито». Не знаю, как было и работать в таких условиях. От одной искренно преданной покойному русской артистки я слышал \* рассказы насчет других сторон домашнего комфорта, прямо показывающие, что Тургенев был крайне

невзыскателен.

Эта «холостая» простота не мешала ему держаться многих чисто европейских привычек в туалете, в еде, в разных деталях нероскошного комфорта. Тонко поесть он любил, и в Париже охотно ходил с знакомыми завтракать и обедать в рестораны, знал, какой ресторан чем славится. Все это без русских замашек угощенья, платил свою долю, по-товарищески, и вообще на такие вещи денег не любил бросать. Насмешка судьбы сделала его данником подагры, а вина он почти не пил. В русской еде выше всего ставил икру и всегда повторял, когда закусывал зернистой икрой, весело озираясь:

– Вот это – дело!

У себя дома Тургенев принимал всех (я говорю о писателях) в ровном настроении, с тем оттенком вежливости, который теперь иным не нравится, но сейчас же, при первом живом вопросе, делался очень общителен. Таких собеседников из русских людей его эпохи было всего-то два-три человека, и в том числе Герцен. Но Тургенев имел свою особенность: уменье изобразительно-художествен-

ной беседы без пылких тирад и проблесков чувства или негодования, но с редким обилием штрихов, слов, определений, жизненных итогов и взглядов на всевозможные стороны литературной и бытовой жизни, на людей, книги, картины, пьесы, русские и западные порядки. Не нужно скрывать и того, что он, при всем своем мягком нраве, доходившем до слабости, бывал иногда весьма ядовит в беседах, рассказах и письмах. Это свойство вошло и в его произведения, в романы и воспоминания. Овладевать общим разговором он мог так, что сейчас же начинался его монолог и мог длиться несколько часов сряду. Завтракать или обедать с ним вдвоем было истинным наслаждением: до такой степени щедро осыпал он вас всем, до чего вы только касались в ваших вопросах и замечаниях. Так содержательно, тонко, правдиво и колоритно рассказывать умел только он. Придирчивый человек заметил бы разве то, что в Тургеневе – собеседнике и рассказчике, как в артисте на сцене, всегда чувствовалась забота о форме...

Но все это исчезало в публичных собори-

цах, на больших обедах, как только нужно ему было подняться с места и связать несколько фраз. Никто не поверит, кто слышал его в гостиных, до какой степени он терялся. Целую неделю сидел я рядом с ним за бюро конгресса литераторов. Чтобы сказать три-четыре слова, вроде: «Monsieur X a la parole sur la proposition de la section anglaise» [2], — он нанизывал, путаясь, множество ненужных слов и вообще как председатель выказывал трогательную несостоятельность.

Всякий теперь знает, как иностранные писатели преклонялись перед ним. Держался он между ними величаво, но говорил всегда крайне мягко; а в речи своей на митинге в театре «Chatelet» даже уже слишком «прибеднивался» за нашу литературу перед Западом.

Та же неловкость, когда нужно было говорить в публике, овладевала им и в России, даже в тот приезд, когда нежданно для него самого полились на его серебристую голову приветствия и теплые речи профессоров, писателей, студентов, курсисток. Светлее и радостнее этого времени в его писательской карьере не было. И внутреннюю свою радость

Тургенев проявлял особенно мило, без рисовки, с тихим умилением, стыдливо и достойно.

Теперь уместно припомнить еще раз ход этих оваций. Зародились они в Москве в кружке молодых профессоров, к которому примкнуло несколько человек писателей и адвокатов. На интимном обеде профессора Ковалевского мы в первый раз приветствовали Тургенева. Заметка, появившаяся в «Русских ведомостях», о том, что на ближайшее заседание Общества любителей, словесности ждут Тургенева, заинтересовала всю мыслящую московскую публику. Когда Тургенев вошел, все встали, захлопали и закричали. Менее восторженный, но вроде этого, прием был ему оказан и в Петербурге в начале 70-х годов, на литературном утре в Клубе художников. Но в Физической аудитории Московского университета с хором обратилось к нему студенчество. Слушал он речь студента, смущенный и тронутый, с закрытыми глазами и опущенной вниз головой. На обеде, данном потом в «Эрмитаже» по подписке, Тургенев сидел между Писемским и Островским. Его *европеизм* блистал между ними ярко, привлекатель-

но и говорил, что одного таланта недостаточно, чтобы быть обаятельным носителем идей и стремлений своей эпохи и нации... К торжественности никакой такой обед не располагал его. Говорить он все-таки не мог, а читал; в антрактах же, между тостами, за закуской, за кофеем привлекал своей изящной простотой и уже совершенно русской ласковостью и товарищеским тоном веселого, минутами мужского разговора.

Считаю жеманством и лицемерием не сказать кстати и того, что Тургенев был весьма не прочь рассказать историю во вкусе Rabelais [3] и делал это мастерски. В нем в таких случаях сидел настоящий барин XVIII века. Да и вообще идеализм его повестей, оттенок чувствительности и сладкой элегичности почти совсем не являлся в его беседах... Иностранец, не читавший его, никогда бы не подумал в иной веселый вечер или обед, что перед ним автор «Якова Пасынкова» или «Дворянского гнезда». Под этим отсутствием чувствительного тона таилась, быть может, известного рода стыдливость, даже немножко ложный стыд, очень знакомый нашим отцам.

Стыдлив в обнаружении своих душевных волнений Тургенев был настолько, что раз, говоря со мною о работе с секретарем, о диктовке, заметил:

– Я и больной никогда не пробовал диктовать. Как же это?.. Иногда ведь взволнуешься, слезы навернутся... При постороннем совестно станет...

Такую же стыдливость и тонкую оценку красоты и грации выказывал Тургенев и к женщинам. Привязанность к одной особе взяла у него всю жизнь, но не делала его нечувствительным к тому, что немцы называют «das ewige Weibliche» [4]. Лучшего наперсника, советника, сочувственника и поощрителя женщин, их таланта и ума трудно было и придумать. Способен он был и стариком откликнуться на обаяние женского существа.

В Петербурге, в зиму оваций, я был в числе других гостей свидетелем шуточного разговора Тургенева с одной из своих поклонниц.

Он ходил по комнате, утомленный, без голоса, и вдруг говорит:

– Ах, если бы мне лет десять с костей, я бы в вас ужасно влюбился.

– А вы попробуйте теперь, – ответили ему, – право, можно!..

Не только женщинам, но и мужчинам он всегда, здоровый, на досуге, занятый или в постеле, отвечал на каждое письмо, по-европейски, иногда кратко, иногда обстоятельно, но всегда отвечал. Это в русском человеке дворянского происхождения великая редкость. Потому-то его корреспонденция и будет так огромна. В ней окажется много писем без особенного интереса для его личности; эти тысячи ответов покажут, как человечно и благовоспитанно относился он ко всем, кто обращался к нему...

О двух наших последних встречах в Петербурге в 1880 году и в Париже в 1881 году (она была самой последней) я уже рассказывал. В том, что я набросал здесь, мне хотелось восстановить выдающиеся черты человека своей эпохи. Есть еще сторона для нас, писателей, высокого интереса – Тургенев как мастер-художник в своих беседах о работе, творчестве, приемах, направлениях вкуса. Об этом в другой раз.

# Примечания

1

изысканностью (*фр.*)

2

Господин X имеет слово для предложения от английской де легации (*фр.*)

3

Рабле (*фр.*)

4

вечно женственное (*нем.*)